



ПОСЛЕСЛОВИЕ

Пророк в своем Отечестве

Чем грубее и проще в наше время народ,
тем легче лукавым и неверующим вождям
увлечь его куда угодно.

К. Леонтьев

В Сергиев Посад попал я на Крещение. В неравном поединке с обильными снегами дворники отступили, и тротуары обозначались утрамбованными дорожками, падающими в грязную кашу перекрестков. Таксисты, ссылаясь на заносы, отказывались ехать к дальнему Гефсиманскому скиту, где погребен Константин Леонтьев.

Выходя из многолюдья вечерней службы Трапезного храма, я разговорился с семинаристом (духовная семинария рядышком), мы побродили, засматриваясь на кружение куполов, и на прощание, как бы в знак нечаянно возникшего духовного родства, семинарист посоветовал:

— Сходите завтра в Троицкий храм к пяти утра. Не полнитесь встать, такой службы вы не видели, будут только монахи.

Ошалелая от раннего пробуждения горничная выпустила меня из гостиницы в студеную темень города.

В Троицком храме разгорались, пощелкивая, свечи. Живое пламя, вздрагивая на образах, вершило тайну возвращения в тот спасительный для Руси четырнадцатый век, когда здесь перед «Троицей» молился преподобный Сергей Радонежский. Только здесь ощутилось, как выжигает электрический свет тайну и благодать, скрытые в старых русских иконах; неспешная утренняя молитва, в которой ясно звучало каждое слово, плотное монашеское братство уводило от сиюминутности, лики притягивали и просветляли, сила их оставалась той же, что и во времена Дмитрия Донского, благословленного на битву отцом Сергием; точно так же стояли перед этим иконостасом русские монахи и сто, и шестьсот лет назад.

Минуло около часа, служба близилась к окончанию. Приоткрылась боковая дверь, и я невольно обратил взгляд на вошедшего монаха, красивого, моложавого, хотя ухоженная тургеневская борода его сверкнула серебром проседи. Мы встретились взглядами, он не по-монашески иронично улыбнулся, колеблющаяся тень спрятала его лицо, пламя свечи отразилось в пенсне, и в этот миг смены света и тени лицо монаха показалось мне знакомым, почудилось что это он, Константин Леонтьев.

Открыли раку святого Сергия Радонежского. Цепочка монахов потянулась на поклон и целование к нетленным мощам. Я рассеянно оглянулся, надеясь увидеть Леонтьева, но чудо не повторилось...

«Поверьте, не нужно быть “малосведущим”, чтобы не знать меня. Не вы первый “открываете” меня, как Америку...» — это строки из письма Константина Леонтьева, обращенные к Василию Розанову, который пытался как-то объяснить, отчего современники просмотрели самого значительного, по его мнению, русского мыслителя. Причины тому Розанов нашел колдовские: Леонтьев слишком напряженно ждал признания своих идей, и если бы он вдруг забыл, заснул возможность славы, если бы ослабла сила душевного напряжения в эту сторону, то слава тут же явилась бы к нему. Природа любит покуражиться над человеком, и, если мы чего-то чрезмерно желаем, оно не исполняется, а как только желание ослабевает, результат приходит сам собой.

Похоже, что узнавание Константина Леонтьева наступило именно сейчас, на излете XX столетия, с того часа в ноябре 1991 года, когда в церкви Петербургской Духовной академии отслужили молебен в память 100-летия со дня кончины монаха Климента, в миру Константина Николаевича Леонтьева. С тех пор как в 1912 году вышло неполное, но все же девятитомное собрание художественных, философских, публицистических сочинений Леонтьева, не было такого залпа публикаций его произведений, какой случился в последние два-три года. Всплеск интереса к Леонтьеву — в совпадении его размышлений, поисков нашим сегодняшним чувствам смятения перед шаткими идеалами, в угаданной им гибели государственной устойчивости, зыбкости национальной и личной судьбы.

Леонтьев первым проник в тайны всплесков жизни государств, культур, наций. Это он десятками исторических примеров обосновал, что у государств, как и у людей, есть возраст рождения, зрелости и смерти. Никому не дано избежать естественной ста-

рости, но неизбежность смерти люди могут собственными усилиями ускорить, и не всякие государства и культуры достигают отпущенного им тысячелетнего возраста. В XX веке много написано о цикличности культур, цивилизаций, но немногие при этом вспоминают о прозрениях Леонтьева. До октября 1917-го оставались еще десятилетия, а он уже предупреждал: «По мере возрастания равенства гражданского, юридического и политического увеличилось все больше и больше неравенство экономическое... Коммунизм в своих буйных стремлениях к идеалу неподвижного равенства должен привести к новому юридическому неравенству, к новым привилегиям, к стеснениям личной свободы и принудительным корпоративным группам, вероятно даже к новым формам личного рабства».

Среди тех, кто на Западе писал о русской философии, утвердился штамп о Леонтьеве как о русском Ницше. Совпадения между двумя мыслителями удивительны, но все-таки скорее Ницше следовало бы именовать немецким Леонтьевым, хотя бы потому, что знаменитый немец родился на тринадцать лет позднее русского философа. Впрочем, Леонтьев настолько неповторим, что не нуждается в поддерживающих аналогиях. Его предельная искренность обескураживает, подталкивает к осуждению, но стоит нам заглянуть в себя столь же честно, мы вынуждены будем восхищаться глубиной леонтьевского проникновения в наши противоречия, в наши тайны тайн.

Это он создал стиль противоречивых исповеданий души, ставший столь распространенным в литературе XX столетия. Леонтьев — мыслитель, но он не имел охоты читать головоломные философские труды и тем более сам не стремился к созданию фундаментальных исследований. Его труды — дети вдохновенного порыва, поэтическая философская проза, самое сокровенное он сказал как бы походя — в письмах, заметках, статьях по поводам сиюминутным, подчас политическим. Его называют импрессионистом, экспрессионистом, экзистенциалистом, слов таких в пору творчества Леонтьева еще не употребляли, но он действительно предугадал многое и в мучениях личностного бытия, и в стилистике, и в извивах мировой истории, что другим открывалось только десятилетия спустя. Трагизм исторических катастроф терзал его больше, чем трагизм смерти отдельного человека. В прозе он изображал красивых людей на фоне великолепной природы, а в страстных философских проповедях клеймил распад европейских культур, неистово скорбел о надвигающемся либерально-революционном выборе России, который приведет к исчезновению ярких творческих личностей, ослабле-

нию государственности, уравниению и усреднению в иллюзиях стремления к демократии, прогрессу, личной свободе.

«Однообразие лиц, учреждений, мод, городов и вообще культурных идеалов и форм распространяется все более и более, сводя всех и вся к одному весьма простому, среднему, так называемому “буржуазному” типу западного европейца, смешение ведет к разрушению и смерти (государств, культуры)...»

Мы, русские, должны опасаться этого, должны страшиться, чтобы и нас история не увлекла на этот антикультурный и отвратительный путь, мы поэтому должны всячески стараться укреплять у себя внутреннюю дисциплину, если не хотим, чтобы события застали нас врасплох, что мы не обязаны, наконец, идти во всем за романо-германцами».

Все, в чем прекращалась пульсация красоты, энергия цветения, не вызывало в нем восхищения, повергало его в тоску. Примечателен в этом отношении очерк «Пасха на Афоне» (1882 г.). Казалось бы, очерк для того и написан, чтобы нарисовать величие самого значимого для православия праздника. Вместо этого мы встречаем почти гнетущие ощущения от великого поста («Море голода и уныния, море усталости и насильственной молитвы»), а подлинная радость и живописность появляются не столько в описаниях литургии, сколько от случайных впечатлений, связанных с албанцами («Станный народ! Полный поэзии и бескорыстного рыцарства, продажности и злобы, простодушия, почти смешного, и самой коварной хитрости»).

Можно порой подумать, что Леонтьев не умеет надолго сосредоточиться на одном предмете, однако это не так. Последовательности и четкости его доказательств позавидует любой математик, но одно дело — последовательность в изложении идей и другое дело — описание мятежности, неугомонности души. В пору хождений к старцам на Афон он пытался соединить, примирить лирику Лермонтова и Байрона с псалмами Давида, и даже в Оптиной пустыни, когда Леонтьев называл Байрона и Лермонтова поэтами-развратителями, не переставал их читать, в нем клокочет по-прежнему юношеское непостоянство, когда от святоотеческих книг он вновь бросается к лирике, политической публицистике, философии.

Как никто другой, мыслитель знал: русская интеллигенция, а вместе с ней и все, кто читает книги, слушает лекции, буйствует в дискуссиях, свернули с дороги цельной веры отцов, критицизм и нигилизм все более поглощали души. «Самих себя, Россию, власти, наши гражданские порядки, наши нравы мы (со времен Гоголя) неумолкаемо и омерзительно браним. Мы

разучились хвалить; мы превзошли всех в желчном и болезненном самоуничижении, не имеющем ничего, заметим, общего с христианским смирением». Но читаем у него и другое: «Я верю, что в России будет пламенный поворот к православию, прочный и надолго. Я верю этому потому, что у русских душа болит».

В русской прозе этот мотив «душа болит» зазвонит во всей силе у Василия Шукшина. Леонтьев же почувствовал спасительную для русской культуры, для веры основу. Русские не смогут стать утилитаристами, не смогут жить только выгодой, наживой, сиюминутностью, ибо *душа болит*.

Всегда находились на Руси люди, в коих верх брали либо безудержная стихия языческого буйства, либо беззаветное следование святоотеческим преданиям. Константин Леонтьев удивительным образом проявил и силу языческих страстей, и светлое стремление к монастырю. Такое соединение противоречий высекало не искры, а пламя душевных терзаний, определило напряжение жизни, в которой было все: распутство, творчество, монашество.

Воспитанный в дворянской усадьбе Калужской губернии, где он каждодневно видел продуманно-прекрасные покои с незабываемым выходом в сад, Константин рано стал ценить красоту и нетерпимо, брезгливо воспринимать мельчайшую неряшливость, а тем более уродство, дисгармонию. Сильное влияние матери, образованной женщины, сказалось в женственности, поэтичности сына, но это не помешало ему после окончания медицинского факультета Московского университета отправиться в военные госпитали Крымской кампании. Потом — дипломатическая карьера. Она протекала на острове Крит, в Константинополе... Поначалу Леонтьев отдавался страстям, впечатлениям, тому, что он называл эстетикой жизни. Восхищенно писал приятелям о красоте и темпераменте восточных женщин, не скрывал своих увлечений и походов, и в него влюблялись женщины, ибо он был по-мужски гармоничен: красивое лицо, аристократические манеры, обостренное чувство чести, побудившее его как-то ударить хлыстом французского консула.

Влюбленность в женщин — лишь одно из проявлений влюбленности Леонтьева в красоту мира. «Он не имел другого отношения к вещам и идеям, кроме влюбленного или... негодующего и презирающего до степеней едва вообразимых, — отмечал Розанов. — Но судьба — “почитателями” его сделались люди, неспособные даже к кой-какой любвишке... Влюбляющий и влюбленный — так хочется назвать его, как собственным и исключительным именем».

Кроме любви, жил в душе Леонтьева еще и страх, ставший первым мощным толчком к религиозности. И здесь, равно как в увлеченности его женщинами, не было примитивизма, голой чувственности, и это, к счастью, оценили богословы, писавшие о христианском мировоззрении Леонтьева.

Летом 1871 года Леонтьев тяжело заболел. Профессиональный врач, он понимал трагизм ситуации — все симптомы холеры. Наступило ожидание смерти. И вдруг в одно мгновение вспыхнула вера в силу Божьей Матери, образ которой стоял перед ним в зашторенной комнате. Он обратился к ней с самой сердечной, горячей молитвой: «Мать Божия! Рано! Рано умирать мне! Я еще ничего не сделал достойного моих способностей и вел в высшей степени развратную, утонченно-грешную жизнь! Подыми меня с этого одра смерти. Я поеду в Афон, поклонюсь старцам, чтобы они обратили меня в простого и настоящего православного, верующего и в среду, и в пятницу, и в чудеса, и даже постригусь в монахи...»

Молитва была услышана. Леонтьев в тот же день выздоровел. Ему было отпущено еще ровно двадцать лет жизни для творчества, достойного его способностей, для спасения молитвами и покаянием. Не сразу созрел он для монашества, может быть, он так и остался бы около церковных стен, но духовный перелом наступил, и мысль о монастыре стучалась все настойчивее в сердце Леонтьева, и вовсе не случайно последние четыре года жизни он прожил в «консульском доме» Оптиной пустыни, а скончался в Сергиевом Посаде.

Путь русского народа от язычества к православию — это и путь Леонтьева, и оттого что путь этот был сжат тугой пружиной, каждый шаг его жизни таил немыслимое напряжение. Он ждал от жизни чего-то несбыточного, верил в свой литературный гений, в свои провидения. Бывало, что он жаждал признания своих талантов, страдал от бесчувственности и недомыслия современников, но бывало, что успех у женщин радовал его больше, чем успех литературный; наступало время, когда он становился безразличен и к тому, и к другому. Импульсивность, непостоянство, замешанные на романтизме, соединенные с элитарным скепсисом, как бы предвосхищают умонастроения поколения молодых конца XX столетия.

Как будто о сегодняшних бранных днях державинские строки:

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.

«Река времен»... У талантливого нашего писателя Бориса Зайцева есть рассказ с таким названием. Удивительна связь между деталями этого рассказа, давшего наименование книге, и судьбой Леонтьева. Дело не только в том, что у героя рассказа, архимандрита, на стене висит портрет красавца Леонтьева, но в неслучайности совпадения названия рассказа с огромным романом Константина Леонтьева «Река времен», сотни страниц которого погибли в огне по воле их автора: он принес в жертву лучшее свое литературное создание, желая спасти душу от соблазнов, коими долго жил.

Русские доверяют сердцу, первому впечатлению, чувственному порыву. Оттого-то у нас высочайшая поэзия, но вечные проблемы при столкновении с практическими, рассудочными задачами. У нас и философия мало похожа на европейскую: художественные интуиции и образы врываются в тексты, страсть проповедника и публициста незаметно переходит в тончайший анализ с формулами-афоризмами. Какой бы предмет ни обсуждал русский мыслитель, всегда просвечивает неслучайность выбора темы, сердечная привязанность к предмету. Как Святой Владимир, плененный красотой православной литургии, совершил точный выбор истинно русской веры, точно так же эстетическое начало ведет почти всех наших философов, о чем бы они ни писали, о логике или морали.

Обостреннее всех выразить эстетизм русского сознания удалось Леонтьеву, это ему часто ставят в вину, приписывая невнимание к типичным для русской литературы этическим сюжетам.

Подлинная нравственность, по убеждению Леонтьева, никогда не расходится с красотой. Беду русского сознания, представленного литературой критического реализма, он усматривал в принижении красоты русской жизни. Желание изобразить мерзости жизни уводит художника от культуры, приближает мрак бунтов, революций, расшатывания красоты национального бытия.

Русские писатели слишком принижают русскую жизнь, в отличие, например, от французов, кои любят поднимать все собственное на каблуки и ходули. «Сама жизнь лучше, чем наша литература. Все у наших писателей более или менее грубо: комизм, отношение к лицам; даже «Война и мир», произведение, которое я сам прочел три раза и считаю прекрасным, испорчено множеством вовсе не нужных подробностей». Безусловным исключением из этого ряда, символом гармонии, меры был для Леонтьева лишь Пушкин.

Со своим первым литературным опытом юный Леонтьев не случайно обратился к Тургеневу, даже внешность великого писателя имела для Леонтьева существенное значение, аристократизм, достоинство, красота Тургенева соответствовали образу подлинного писателя.

По чисто эстетическому неприятию внешних манер поведения, неряшливости того или иного человека Леонтьев мог навсегда отшатнуться от него. Константин Николаевич курил, но не любил, чтобы ему подносили спичку, не желая ненароком увидеть рядом грязные ногти. Он не стеснялся обидных слов, коль речь шла об убийстве красоты. Один сослуживец полюбопытствовал, что Леонтьев подразумевает под словом «хам», на что услышал такое разъяснение:

— Ну, вот вы, например, хам, потому что на вас не ряса и даже не кафтан, не поддевка, а европейский некрасивый кургузый пиджак. Разве вас художник захочет перенести на полотно? А какого-нибудь старого боярина, черногорца, грека в феске перенесет, и будет красиво.

Леонтьев не идеализировал спасительную миссию красоты, его эстетизм — это восхищение перед стихией вечной борьбы добра и зла, его никак не удовлетворила бы унылость абсолютной победы добра над злом. Отвергая кошмар революции, он способен был найти красоту в самом революционном порыве. Красота — в многообразии жизни, красиво все особенное, неповторимое, прекрасны самые острые противоречия действительности — оттого он одновременно мог стремиться к монашескому аскетизму, к молению о спасении души и вместе с тем бесконечно любить все земное. Никакое искусство не может создать той красоты, того великолепия, какие дает жизнь.

Красота — единство разнообразия. Цветение культуры — разнообразие, скрепляемое державным единством с уверенной властью, церковным авторитетом, сословным обществом. Понятно, что подобные представления о зрелости общества и культуры совсем не устраивали либерально-демократическую и революционную интеллигенцию, которая бредила идеями равенства, бессловности, демократических свобод. Пик цветения общества, государства, культуры приходится на эпоху средневековья, а вовсе не на желанное для прогрессистов время промышленного и научно-технического подъема. Для красоты цветущей сложности одинаково губительны и социализм, и капитализм, ибо один откровенно провозглашает социальное равенство, другой ведет к уравнительности потребностей, вкусов, окологкультурных стандартов. Коммунистическое равенство рабов и буржуаз-

ное сползание в массовую культуру — это смесительное упрощение, свидетельствующее о разложении, гниении, старении органического целого.

«Демократическая конституция (высшая степень капитализма и какой-то вялой и бессильной подвижности) есть ведь ослабление центральной власти, а демократическая конституция теснейшим образом связана с эгалитарным (уравнительным. — А. К.) индивидуализмом, доведенным до конца. Она подкрадывается неожиданно. Сделайте у нас конституцию — капиталисты сейчас разрушат поземельную общину; разрушьте общину — быстрое расстройство доведет нас до окончательной либеральной глупости — до палаты представителей, т. е. до господства банкиров, адвокатов и землевладельцев как представителей такой недвижимости, которую очень легко обратить в движимость когда угодно, ни у кого не спросясь и нигде не встречая препятствий».

В гибнущих, деградирующих обществах, по наблюдению Леонтьева, меняется психология людей, гаснет энергия жизнедеятельности, падает, как говорил столетие спустя последователь Леонтьева Лев Гумилев, пассионарность. Империи гибнут при внешне благополучных условиях, при какой-то расслабленности властей и народа. Граждане Трира наслаждались в цирке, когда стены их города дрожали под ударами таранов. Гонорий испугался лишь за судьбу любимого петуха, узнав о падении Рима. Немало поводов проследить в связи с этим апатию правителей, всех сограждан, сопровождавшую разрушение недавней мощи России, почти всеобщее одобрительное улюлюканье по поводу краха последней Империи.

Схема развития любого государства, культуры такова: рождение и созревание (первичная простота); цветущая сложность; вторичное смесительное упрощение, то есть упадок, приближение к гибели. Национальные государства не жили дольше двенадцати веков, меньше жили, но предел возможного возраста не перешагнул никто, как и человек-долгожитель все-таки неминуемо умирает. Македония прожила 1170 лет, Византия — 1128, Римская империя — 1229.

Леонтьев чувствовал приближение грозы над Россией, хотя и знал, что ей еще далеко до исчерпания своего срока жизни. Возраст России он, как и впоследствии Л. Н. Гумилев, исчислял от Куликовской битвы, от года объединительной миссии Сергия Радонежского.

Писатель сердцем, художественной интуицией прозревает порой проблему, о коей философы еще не догадываются. Россия всемирно прославилась себя писательскими именами, но долго

незамеченной оставалась важнейшая особенность русской школы философствования — вчувствование в предмет, отчего столь часто писатель и философ в России неразделимы. Рождение специфически русской философии с ее просветленной чувственностью отмечено в немалой степени как раз творчеством Леонтьева. Его мысли то и дело побуждают нас прибегать к вненаучным характеристикам: предугадал, предчувствовал, пророчески прозревал истину.

«Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения» — именно так назвал К. Леонтьев свой неоконченный труд, хотя написание его заняло двенадцать лет, то есть мыслитель многие годы был сосредоточен на идее, которая еще никак не беспокоила ни одного философа в самой Европе. В самом деле, никто из научно ориентированных философов в XIX веке не мог писать о массовой культуре, о конформизме, о стереотипах мышления, о пагубе интернационализации ценностей, о социальной психологии. Никто не писал об этом, кроме Леонтьева. Он даже термин «социальная психология» уже употреблял, он описал разрушительную силу массового сознания.

Сегодня, когда так часто бездумно рассуждают об общечеловеческих ценностях, нелишне повнимательнее прочитать предупреждающие фрагменты леонтьевских работ.

«Тот народ наилучше служит и всемирной цивилизации, который свое национальное доводит до высших пределов развития; ибо одними и теми же идеями, как бы ни казались они современникам хорошими, человечество постоянно жить не может».

Без национального своеобразия «можно быть большим, огромным государством, но нельзя быть великой нацией».

«Культура есть не что иное, как своеобразие, а своеобразие ныне почти везде гибнет преимущественно от политической свободы. Индивидуализм губит индивидуальность людей, областей, наций».

Европа не погибает еще как цивилизация с ее научно-техническими достижениями, но она гибнет в своем культурном своеобразии, она усредняется и превращается в некое европейское сообщество.

Леонтьев осуждал и порицал не Европу как таковую, а разлагающийся культурный потенциал Европы. Он восхищался культурой Европы средневековой, он и в России ценил тот период расцвета в XVIII столетии, когда западная культура благотворно повлияла на нашу жизнь. Это, безусловно, отличает его от славянофилов, настроенных подчас изоляционистски, но это род-

нит его с Пушкиным и Достоевским, которые также дорожили вершинными достижениями Запада.

Задолго до нашумевшей книги Шпенглера «Закат Европы» Леонтьев установил диагноз болезни. Главная беда — обезличенность жизни при всех разговорах о личности, свободе, демократии, прогрессе. Нарастает однообразие, унификация, «бесцветная вода всемирного сознания». «Практику политического гражданского смещения Европа пережила, — писал Леонтьев в «Византизме и славянстве», — скоро, может быть, увидим, как она перенесет попытки экономического, умственного (воспитательного) и полового, оокнчательного упростительного смещения!... Она стремится посредством этого смещения к идеалу однообразной простоты и, не дойдя до него еще далеко, должна будет пасть и уступить место другим!»

Всматриваясь в гибельные для России идеи, Леонтьев то и дело срывается почти на мольбу, уговаривая соотечественников остановиться, одуматься, противодействовать гниению, поразившему уже Европу.

Чтобы вразумить читателей, он не скупится на сравнения. Есть своеобразные дуб, сосна, яблоня, тополь, и вот в один прекрасный момент они вдруг стали бы жаловаться на ограниченность своего существования, на недостаток свободы, на сдерживающие вериги коры, на обременительность собственных цветов, листвы, плодов, им возжелалось бы стать неким среднестатистическим деревом, то есть просто деревом (просто людьми с общечеловеческими ценностями), без собственного цветения, без отличительных особенностей. Используя близкую ему медицинскую аналогию, Константин Леонтьев предостерегает: одинаковые организмы легче заражаются одинаковыми болезнями. «Приемы эгалитарного прогресса сложны, цель груба, проста по мысли, по идеалу, по влиянию и т. п. Цель всего — средний человек, буржуа, спокойный среди миллионов точно таких же средних людей, тоже покойных».

Нелегко было Леонтьеву найти единомышленников при жизни, нелегко ему достучаться и до наших современников, опьяненных идеями либо социализма, либо рыночного процветания. Он обнажил шпату перед самыми безусловными ценностями цивилизованного, но малокультурного мира: прогрессом, равенством, свободой, всеобщей образованностью. Потому-то он и оказался одиноким, непонятым, забытым.

Мир очевидностей, ходячих истин и предпочтений — это не леонтьевский мир. «В душе его было окно, откуда открывалась бесконечность», — писал Розанов. «Лишь один Леонтьев думал

иначе, чем большая часть русских», — замечал Н. Бердяев. Подлинных провидцев редко и мало слушают, пока не нахлебаются собственного печального опыта. А опыт этот повлек нас поначалу к разрушению монархической власти и сословного общества, потом к мигающим во тьме огонькам коммунизма, а теперь — к демократии и индивидуализму. Именно оттого, что мы не исчерпали блужданий, о коих предупреждал Леонтьев, нам его трудно слушать, или, точнее, мы слышим в нем лишь то, что уже согласуется с почерпнутым нами опытом, с нашими готовыми мнениями.

Теперь мы, конечно, с чувством интеллектуального превосходства по отношению к фанатикам социализма можем прокричать в прошлое: «Что же вы не слушали мудрого современника, который в десятках статей предупреждал — к какой беде катится Россия?!».» Запоздалой мудрости не бывает: мудрость всегда преждевременна, глупость и заурядность — современны.

О перспективах социализма Леонтьев высказался безошибочно тогда, когда еще пребывал в младенчестве вождь мирового пролетариата. «Социально-политические опыты ближайшего грядущего (которые, по всем вероятностям, неотвратимы) будут, конечно, первым и важнейшим камнем преткновения для человеческого ума на ложном пути искания общего блага и гармонии. Социализм (т. е. глубокий и отчасти насильственный экономический и бытовой переворот) теперь, видимо, неотвратим, по крайней мере для некоторой части человечества. Но, не говоря уже о том, сколько страданий и обид его воцарение может причинить побежденным, сами победители, как бы прочно и хорошо ни устроились, очень скоро поймут, что им далеко до блаженства и покоя».

Единицы прочитали Леонтьева, и даже прочитавшие не разнесли пророческую весть. Слушали других, вещавших о неизбежности социального прогресса, смене общественно-экономической формации, о равенстве и свободе. Теперь-то легче умничать, а на самом деле совершать не менее тяжкие ошибки, которые тоже провидел Леонтьев, но нашу близорукость осудят уже иные поколения. Нам же дана тонкая ниточка национального спасения, и крепость ее станет возрастать, если не перестанем вчитываться и вдумываться в строки искренних и проницательных русских мыслителей.

Попробуйте хотя бы сегодня заснуть не с мельтешением телевизионных картинок, не с короткими сиюминутными желаниями, а с мыслью Константина Леонтьева, обращенной к каждому из нас: «Все менее и менее сдерживает кого-либо религия, се-

мья, любовь к отечеству, — и именно потому, что они все-таки еще сдерживают, на них более всего обращаются ненависть и проклятия современного человечества. Они падут — и человек станет абсолютно и впервые “свободен”. Свободен, как атом трупа, который стал прахом».

Александр Корольков